

**Д. С. Мережковский**

# **Не мир, но меч**

**Москва  
«Книга по Требованию»**

УДК 101  
ББК 87  
М52

М52      **Мережковский Д.С.**  
Не мир, но меч / Д. С. Мережковский – М.: Книга по Требованию, 2021. –  
320 с.

**ISBN 978-5-4241-2342-9**

В данном издании вниманию читателя предлагаются некоторые из наиболее значительных произведений русского писателя, одного из зачинателей русского декаденства, Д. С. Мережковского (1866–1941). В книгу включены статьи, литературно-критические и религиозно-философские исследования автора.

**ISBN 978-5-4241-2342-9**

© Издание на русском языке, оформление  
«YOYO Media», 2021  
© Издание на русском языке, оцифровка,  
«Книга по Требованию», 2021  
© Д.С. Мережковский, 2021

Дмитрий Сергеевич  
Мережковский  
НЕ МИР, НО МЕЧ

*"Не мир пришел Я принести, но меч".  
Матф. X, 34*

# НЕ МИР, НО МЕЧ

К будущей критике христианства

## МЕЧ

### I

Есть Бог или нет? Вот, кажется, самый нелюбопытный вопрос в наши дни. Кто-то недавно хотел «убить Бога». Жалкое безумие — убивать мертвого.

Впрочем, жив Бог или умер, какое дело людям до Бога? Они наги — Бог не одел их; голодны — Бог не накормил; в рабстве — Бог не освободил. У зверей нет Бога, а люди живут хуже зверей. Сначала сделайте людей людьми, а потом говорите им о Боге.

Чем на это возразить? Словами — стыдно; а делами — где же собственно религиозные дела наших дней? Как не доказать, а показать, что религия — самое нужное из всех человеческих дел? Если что-либо в религиозных переживаниях потеряно окончательно и как будто невосвратно, то это именно ощущение религиозного действия. Пока говоришь о религии, как об идеале, все соглашаются или, по крайней мере, никто не спорит — кажется, впрочем, потому, что всем наплевать; но только что пытаешься связать религию с реальной действительностью, оказываешься или в дураках, или в подлецах, ибо за память современного человечества единственная религиозно-общественная реальность — глупость обманутых, подлость обманщиков.

Умер Бог в человечестве, но не в человеке; в обществе, но не в личности; во всех, но не в каждом. Потребность религиозная свойственна человеку в такой же мере, как и все естественные потребности. Религиозное чувство есть высший метафизический предел физического чувства самосохранения, предел, который достигается из всех животных одним человеком, сознающим смерть. Я знаю, что умру; но хочу жить и после смерти — вот начало религии. Религия и есть именно то, что отличает вид животного — человека от всех прочих животных: человек — религиозное животное.

Едва ли даже люди, чуждые всякой религии, не согласятся с тем, что цель и смысл жизни есть счастье и что счастье — любовь. Любить значит радоваться тому, что есть любимый, и хотеть, чтобы он всегда был; не хотеть, чтобы он был, — согласиться на то, чтобы его не было, значит не любить. Любовь есть реальное и в то же время трансцендентное утверждение личного бытия. Смерть есть такое же реальное и в то же время трансцендентное отрицание этого бытия, уничтожение личности. Всякая жизнь побеждается смертью. Чтобы дать жизни смысл, мы должны в любви утверждать вечное бытие личности; но смертью, уничтожающей личность, уничтожается и любовь, единственный возможный для человека смысл жизни.

Для того чтобы понять неотразимость этой антиномии, нужен опыт любви и смерти. У всякого человека он был или будет. Всякий человек в известное мгновение своей сознательной жизни приводится двумя величайшими реальностями бытия — любовью и смертью — к необходимости религии. Всякий человек более или менее знает, что такое Бог, потому что более или менее знает, что

такое любовь или смерть.

Когда умирает любимый, любящий не перестает любить. Это — чудо или безумие. Как я могу любить умершего или даже того, кто может умереть, должен умереть? Не утверждается ли для меня абсолютно в моей любви то самое личное бытие, которое столь же абсолютно отрицается в смерти? Я знаю, что любовь — сущность моей жизни и что я только потому, только тем и живу, что люблю. Но, признав, что смерть есть уничтожение личности, и все-таки любя мертвого, смертного, я утверждаю волею то, что отрицаю разумом, утверждаю, что есть то, хочу, чтобы всегда было то, чего, я знаю, уже нет или завтра не будет. Утверждаю и отрицаю одно и то же — безумствую. И люблю, живу только до тех пор, пока безумствую; а едва возвращаюсь к разуму, перестаю жить. Мой разум отрицается моей жизнью; моя жизнь отрицается моим разумом. Остается одно из двух: или, приняв эту нелепость, отказаться от разума, предаться неисцелимому безумию или, не покаясь эмпирической безысходности, искать уже не эмпирического, а трансцендентного выхода.

Его-то и указывает религия. Но, когда нет религии, которая могла бы дать единый истинный выход, люди подменяют его многими ложными, как созерцательными, так и деятельными.

## II

Один из таких ложных выходов созерцательных — искусство как религия.

Последний религиозный предел искусства — трагическое созерцание мира. Личность героя в трагедии, достигая высшего проявления воли, гибнет в борьбе с безличною силою рока или страсти. В мнимом идеальном исходе эстетического созерцания только углубляется реальная безысходность мирового зла.

Величайшее благо —

Совсем не родиться,

А родившись,

Умереть поскорей.

Под радужным покровом мимолетных символов прозревается искусством вечный мрак ничтожества, заложенный в основу мира. Нет и не может быть красоты, потому что всякая красота жизни побеждается уродством смерти.

Когда же искусство, выходя из пределов своих и становясь на место религии, ищет примирения с трагическим смыслом бытия в самом себе, то творящая эстетика вырождается в бесплодный эстетизм всех упадков. Творчество до тех пор только и живо, пока символы его имеют религиозный смысл, более глубокий, чем эстетический. Самая жалкая карикатура на творцов-художников — эстеты, академические скопцы, никогда ничего не рождавшие. Эстеты — могильные черви, разъедающие труп искусства.

Другой ложный созерцательный исход — наука как религия.

Созерцание научное, на последних пределах своих, приходит к тому же, к чему эстетическое. В мировом процессе эволюции познается вечность материи, вечность движения и мимолетность всякой отдельной жизни, всякой личности. Личность — преходящее явление безличной непреходящей силы. Бессмертно — Все; но бессмертие Всего — смерть всех. Природа создает для того, чтоб уничтожить созданное, — как ненасытный Кронос пожирает детей своих.

Наукой, так же как и искусством, не разрешается, а углубляется противоречие

любви и смерти, последнего да, которое я хочу сказать себе и людям в сознании любви, и последнего нет которое я должен сказать себе и людям в сознании смерти. Наукой, так же как и искусством, только утверждается безысходность и непобедимость мирового зла. В эволюционном процессе все личное приносится в жертву безличному, все живое — мертвому, все любящее, утверждающее — ненавидящему, отрицающему жизнь, — вот предел научного созерцания — предел отчаяния. Ежели сущность мирового бытия открывается мне лишь в бытии моей личности, а бытие личности — только временная форма вечного небытия; ежели я — не более, чем «явление», пузырь, сегодня вскочивший на поверхности неведомой стихии, чтобы завтра лопнуть, то уж лучше бы мне ничего не знать, чем, зная это, согласиться на такой бессмысленный позор и ужас.

Один из выходов деятельных: семья, род как религия.

Я умру, но дети, внуки, правнуки мои будут жить, и я в них. Здесь противоречие не разрешается, а только переносится из настоящего в будущее, из одного поколения в другое. Чем бессмысленная, позорная и ужасная жизнь потомков лучше бессмысленной, позорной и ужасной жизни предков? Ежели смерть уничтожает смысл моей жизни, то почему не уничтожит она смысла жизни детей моих, и внуков, и правнуков?

Впрочем, никакими умственными доводами нельзя возразить сколько-нибудь успешно на религию рода, которая есть плод не ума, а животной жизни. Родители видят или хотели бы видеть религиозный смысл своей жизни в детях. Но достаточно ребенку умереть, чтобы, без всяких умственных доводов, а всем существом своим, тою же самою силою животной жизни, которая заставляла их любить ребенка, они поняли, что этот смысл — бессмыслица. Если я люблю то, что есть, но что может не быть, должно не быть, то, в последнем счете, это значит, что я люблю то, чего нет, — люблю ничтожество, небытие. Религия рода — такая же скрытая религия небытия, как религия искусства и науки.

Второй исход деятельный — общественность как религия.

Для современного человечества это из всех мнимых религиозных исходов — самый соблазнительный. Ежели смысл всякой жизни личной уничтожается смертью, то над смыслом жизни всеобщей, всемирной смерть будто бы не имеет власти, ибо человек — смертен, человечество — бессмертно, человек — относительное, человечество — абсолютное, человек — средство, человечество — цель.

Религия общественности, как и религия рода, возникает не из нового религиозного сознания, а из первобытного животного инстинкта: это тот же самый инстинкт в людях, который заставляет пчел собираться в улей, муравьев в муравейник. Возражения против пчелиного и муравьиного бессмертия уже много раз делались, но они всегда были и будут недействительными для тех, кто подчиняет свое сознание своему инстинкту.

Прежде всего, разумеется, бессмертие человеческого улья и муравейника столь же сомнительно, как бессмертие настоящего улья и муравейника: неминуемый конец нашего земного мира есть и конец человечества. И как отдельному человеку, достигшему той степени сознания, на которой смерть становится реальной из всех реальностей, так и всему человечеству, достигшему этой же степени сознания, — совершенно безразлично, наступит ли конец завтра или через много тысячелетий. Если даже конец только может наступить, одна такая

возможность уничтожает всякую реальность временного бытия.

Второе возражение, столь же обыкновенное и верное, хотя столь же недействительное для слепого инстинкта, заключается в том, что если отдельная человеческая жизнь, уничтожаемая смертью, в последнем счете, есть нуль, то и жизнь всех людей, всего человечества, сумма нулей — тоже нуль. Потребность выйти из коренного противоречия бытия есть потребность личности, которая дошла до сознания своей абсолютной ценности. Но религия общности, коллективизм, в своем мистическом пределе, который в современном социализме уже предчувствуется, хотя еще не создается, жертвует личностью безличному целому, старой ли государственности, новой ли социалистической общности, это все равно, так как в обоих случаях спор между личностью и обществом, одним и всеми, решается, в последнем счете — внешнею насильственной властью, принудительным воздействием государства или общества на личность, всех на одного. Вот почему социализм как религия не разрешает, а только устраняет религиозную проблему абсолютной личности.

Основатель «религии человечества» Конт чувствовал это затруднение и, стараясь выйти из него, сделал попытку перенести высшую самоценную реальность личности с человека на человечество — в представлении Великого Существа, *Grand-Etre*. Но самые верные из учеников Конта, не без некоторого основания, признают, что учитель изменил позитивному методу и вернулся к теологии, когда воплотил отвлеченное представление всечеловеческой общины в таинственную личность «женского пола», весьма напоминающую Великую Матерь Кибелу языческой мифологии или «Жену, облеченную в солнце» — Апокалипсиса. Может быть, контовская идея человечества как личности когда-нибудь и осуществится, но уже в порядке не научно-аналитического, а религиозно-синтетического мышления. Во всяком случае, для современного социализма эта, воистину вещая, хотя самым творцом не до конца сознанный, идея никакого реального значения не имеет.

Социализм как наука связан был некогда с революционными идеями юного индивидуализма, личной свободы, личного достоинства, с «декларацией прав человека»; но социализм как религия в разрешении последних проблем бытия приходит к совершенному отрицанию индивидуализма, к понятию человеческой личности как относительного, общества — как абсолютного. Только жертвуя личным безличному, социализм, повторяю, как будто разрешает, а на самом деле устраняет неразрешимую антиномию одного и всех, личности и общества.

### III

Итак, ложными оказываются все религиозные исходы — наука, искусство, род, общественность. Это значит, что религиозный смысл мира уже потерян или еще не найден современным человечеством. Мир — бессмыслица, жизнь — неисцелимое зло, — вот последнее, может быть, не сказанное, но неминуемое слово современного религиозного или антирелигиозного сознания. Если Бог есть, то людям остается только проклясть Бога.

Корни человечества — в религии. Когда корни засохли, то дерево может еще некоторое время зеленеть. Такое дерево на сухих корнях — современная европейская культура; нижние ветви продолжают зеленеть, но вершина вянет и желтеет на наших глазах. Эти первые желтые листья всемирной осени, это нача-



ло конца есть то, что называлось некогда «мировою скорбью», потом «пессимизмом», «нигилизмом», а в настоящее время не имеет себе имени: пока были слова, люди говорили, теперь они молчат или говорят о другом. Некоторые песни Леопарди и Байрона, подобные воплям, некоторые страницы Мопассана и Тургенева, подобные предсмертным письмам самоубийц, дают заглянуть в бездну этой скорби, о которой сказано: будет скорбь, какой не было от начала мира. Но лица безмолвных прохожих, иногда встречаемых в многолюдстве больших городов, говорят нам яснее всяких слов о такой глубине человеческой безнадежности, которая не нашла и, может быть, никогда не найдет своего выражения ни в каких философских построениях, ни в каких поэтических воплях.

Последний вывод пессимизма есть буддийский нигилизм, созерцательная религия небытия. Та же религия в действии есть последний вывод анархизма.

В настоящее время говорить об анархизме, как о реальном явлении общественном, почти невозможно. Научно-философское обоснование анархической общественности принадлежит будущему. А в современной зачаточной стадии своей анархизм есть, по преимуществу, лишь анархический индивидуализм. Некоторые прозрения Л. Толстого и Бакунина, Штирнера и Ницше, Ибсена и Достоевского дают пока лишь отвлеченные проекции в те предельные состояния души современного человека, которые доньше оставались личными, частными, но делаются все более общими и должны, наконец, сделаться общественными. Впрочем, уже и теперь можно предвидеть, что в этих последних метафизических выводах своих анархизм, утверждение безобщественной личности, окажется полярно-противоположным социализму, утверждению безличной общественности. Вольно или невольно, анархизм снова поднимет и обострит вечную антиномию личности и общества, одного и всех, которую социализм, не разрешая, только устраняет. Необходимо реальное торжество социализма, чтобы идеальная сила и правда анархизма могла до конца обнаружиться. Исходная точка анархического индивидуализма: я против всех; неизбежный предел его: я против всего. Ежели все уничтожает меня, потому что все ведет к моей смерти, к небытию моей личности, то последнее, возможное для меня утверждение себя есть отрицание всего, уничтожение всего: Я есмь — и нет ничего, кроме Меня. Неприятие мира — не только данного, общественного, но и всего космического порядка как абсолютного зла, абсолютного насилия — такова бессознательная метафизическая сущность анархии, которая в настоящее время, повторяю, находится в состоянии зачаточном и в которой бунт социальный еще никем не поняв как первое отдаленное предвестие неизмеримо грознейшего бунта человека против мира и Бога, я против не-я.

Только будущий анархист, человек последнего бунта, последнего отчаяния есть первый из людей, который услышит и примет благовестив новой религиозной надежды.

#### IV

Если бы наступил рай на земле, в котором человечество нашло бы утоление всех своих потребностей, не только физических, но и духовных, и одна смерть осталась бы непобежденною, непобедимою, то человек, не отказавшись от своего человеческого достоинства, не мог бы удовольствоваться этим раем. В какой бы мере ни победил человек силы природы, достаточно одной возможности

смерти, как уничтожения личности, для того чтобы уничтожить всю реальность бытия: ежели смерть есть, то ничего нет, кроме смерти; ежели смерть есть, то все — ничто.

Подобно тому, как из цепи причин и следствий нельзя вынуть ни одного звена, не разрушая всей цепи, так из мирового порядка нельзя вынуть ни одной человеческой жизни, будь то жизнь Иисуса Назорея или последнего из париев, не уничтожая всей реальности бытия. И если бы все люди стали эмпирически бессмертными, но смерть продолжала бы существовать только как метафизическая возможность, хотя бы на отдаленнейших пределах пространства и времени, то человек совершенного религиозного сознания не мог бы все-таки принять мир. Религиозное, то есть абсолютное, утверждение жизни требует и абсолютного отрицания смерти, абсолютной победы над смертью.

И наоборот, если бы кто-нибудь, хотя бы один из всех людей, живших на земле, не умер или вернулся бы из смерти в жизнь, то метафизическая реальность небытия была бы навеки уничтожена, закон смерти упразднен в своей непобедимости не только для того единственного, кто победил смерть, но и для всех остальных, еще эмпирически подверженных смерти: для него эта победа совершилась бы в действительности, для остальных — в возможности; но одна возможность иного порядка навеки уничтожает абсолютную реальность порядка существующего. Как утверждение небытия возможно лишь в том случае, если закон смерти непобедим, так отрицание бытия невозможно, если этот закон побежден хотя бы жизнью одного существа из всех, когда-либо бывших в мире. Как бессмертие всех упразднилось бы смертью одного, так смерть всех упраздняется бессмертием одного. Если бы люди знали, что один из них умер и воскрес, так же точно и неотразимо, как они знают, что все жившие умерли, то это знание преобразило бы весь человеческий мир — внешний и внутренний, созерцательный и деятельный — науку, искусство, нравственность, пол, общественность — все до последней клеточки нашего организма, до последней отвлеченности нашего мышления.

Я не предрешаю вопроса о том, был ли действительно такой человек на земле; я только напоминаю реальное явление всемирной истории, поразительно забытое современным человечеством: когда-то, у людей, правда, у весьма немногих и весьма ненадолго, было знание о том, что Один из умерших людей воскрес, знание, которое казалось им не менее, а более точным и неотразимым, чем теперь кажутся нам положительные научные знания. И все, что сделано христианством для человечества — а кое-что сделано им, дурное или хорошее, это я опять-таки не предрешаю, — только потому и сделано, что в основу христианства заложено было это знание.

В самом деле, христианство основано вовсе не на любви к ближнему, как обыкновенно думают, — эта любовь есть и в законе Моисеевом, и у всех древних учителей мудрости, от Сократа до Марка Аврелия, от Конфуция до Бодизатвы, — не на праведной жизни и крестной смерти Христа, а на неотразимо доказанной опытом, реальной возможности физического воскресения.

Если Христос не воскрес, то тщетна вера наша. И не только вера, но и надежда и любовь. Если Христос не воскрес, то Он достойно распят, ибо Он обманул человечество величайшим из всех обманов, утверждая, что Бог есть Отец Небесный: Бог, допустивший уничтожение в смерти такой личности, которой

весь мир не стоит, — не Отец, а палач, не Бог, а дьявол, и весь мир насмешка этого дьявола над человеком, вся природа — безумие, проклятие и хаос.

Жизнью и смертью человека Иисуса, единственного из людей, которому подобного никогда не было и не будет на земле, если не Сына Божиего, то, воистину, Сына Человеческого, раскрыта ужасающая антиномия любви и смерти, абсолютного утверждения и абсолютного отрицания бытия с такою неотразимостью, как никогда раньше и после, и ежели все-таки антиномия эта осталась неразрешенною, неразрешимою, то человечеству уже не на что надеяться, не во что верить, нечего любить: значит, воистину, закон смерти непобедим, и единственная реальность сущего — реальность небытия: все — ничто.

Нельзя не любить человечеству Сына Человеческого. Но любить значит утверждать волею, хотеть абсолютного бытия того, кого любишь, то есть абсолютной победы его над смертью — воскресения; а любить Христа, умершего и не воскресшего, значит утверждать волею абсолютное бытие того, кто, по свидетельству разума, этого бытия не имеет. Остается одно из двух: или отречься от воли к бытию как от религиозного смысла жизни, признав вместе с буддийскою метафизикой, что религиозный смысл жизни есть небытие, нирвана, уничтожение самой воли к бытию; или признать ошибку в заключении того разума, который отвергает реальную возможность воскресения.

## V

Тут прежде всего возникает вопрос: какому, собственно, разуму противоречит эта возможность? Тому ли критическому, чистому, который исследует свои собственные внутренние законы, как законы познания, или только чувственному, опытному, который, вооружившись критикой познания, исследует явления внешнего мира, законы природы?

Неверующий в воскресение Христа не верит не потому, что самое понятие физического воскресения противоречит законам чистого разума — оно им так же мало противоречит, как понятие физической смерти, физического рождения, — а потому, что неверующий знает по опыту, что никогда никто из умерших не воскресал, и также потому, что опыт ничтожной горсти людей, видевших и осязавших или думавших видеть и осязать воскресшую плоть Иисуса не может перевесить опыта всего человечества о непобедимости физической смерти. Что эта ничтожная горсть людей, не имевших никакого понятия о точных методах знания, могла ошибиться, бесконечно вероятнее, чем то, что ошибается все человечество, во всеоружии научного опыта. Сколько рассказов о чудесах и видениях оказались легендами; почему бы и рассказу нескольких невежественных женщин и рыбаков Галилейских не оказаться такою же легендою?

Но, во-первых, вероятность, хотя бы даже бесконечная, — еще не достоверность; а во-вторых, безусловность суждений опытного разума ограничивается содержанием, почерпнутым из данных существующего мирового порядка: исследуя то, что есть и было, опытный разум, по этим данным, весьма частичным и несовершенным, заключает, тоже лишь отчасти и весьма несовершенно, о том, что будет или что может быть. Величайшее открытие самого же опытного разума — закон эволюции обнаруживает непостоянство каждого данного мирового порядка и постепенные переходы мира от одного состояния к другому, от более простого — к более сложному, от настоящего, известного — к неизвестному,

будущему. О содержании и пределах возможностей, скрытых в этом неизвестном будущем, опытный разум заключать не может, за отсутствием тех данных, на основании которых он строит свои заключения, то есть именно опытных данных; он только знает, что есть то, чего не было, и будет то, чего нет. Не было органического состояния материи — оно есть; будет ли еще иное, дальнейшее, этого он знать не может, не выходя из пределов, которые полагает ему разум критический.

Во всяком случае, с точки зрения опытных данных, почерпнутых из познания неорганического состояния материи, ее переход к состоянию органическому и образование тех нервно-мозговых узлов и центров, которые ведут к возникновению сознания и к жизни, то есть к временному торжеству личности над безличной материей, — все эти естественные, реальные явления могут казаться не в меньшей степени «чудом» и «тайною», чем окончательное торжество жизни над смертью, органического над неорганическим, личного над безличным, которое имело бы совершиться в дальнейшей стадии мировой эволюции, в дальнейшем сверхорганическом состоянии материи, то есть именно в том, что религия и называет воскресением плоти.

С точки зрения опытного разума, то, что человек мог родиться, отнюдь не более понятно и закономерно, чем то, что он может воскреснуть, и переход из небытия довременного во временное бытие жизни отнюдь не менее «сверхъестествен», чем переход из временного бытия жизни в вечное бытие воскресения.

Явление плоти воскресшей и есть первая точка этого нового мирового порядка, новой ступени мировой эволюции, перехода материи от состояния органического к сверх-органическому, от равновесия неустойчивого в победе живого над мертвым, личного над безличным — к равновесию устойчивому. Потому-то реальность воскресшего тела Христова могла быть видима и осязаема лишь ничтожною горстью людей, что эта реальность — именно только первая, как бы геометрическая, точка новой исполинской траектории мировой эволюции, бесконечно малая, по своему внешнему, физическому объему, бесконечно великая, по своему внутреннему, метафизическому содержанию, — как бы крайняя точка пирамиды, обращенной вершиною вниз, основанием вверх и объемлющей этим основанием все беспредельные звездные пространства космоса.

Итак, противоречие реальной возможности воскресения опытному разуму есть лишь кажущееся, временно обусловленное временным содержанием научного опыта, почерпнутого из существующего порядка мира, а отнюдь не вечными гносеологическими законами чистого разума, не критикой познания. На вопрос о возможности воскресения критика познания не могла бы дать ни утвердительного, ни отрицательного ответа, потому что она исключает этот вопрос из области своих исследований, как и все предельные антиномические проблемы. А глубочайшая религиозная воля и высочайшее религиозное сознание требуют и утверждают не только идеальную возможность, но и реальную необходимость абсолютного торжества всечеловеческой личности над смертью как единственный выход из мировой антиномии жизни и смерти.

Или последняя цель всего мирового процесса — небытие, нирвана; или — Христос воистину воскрес.

Или нет никакого примирения между человеческой волей, ищущей религиозного смысла жизни в любви, в абсолютном утверждении личного бытия, и человеческим разумом, отрицающим возможность этого утверждения при суще-